

Четыре с лишним десятилетия тому назад в толпе молодых людей, заполнявшей вестибюль Ленинградского Технологического института, я заговорил с ясноглазым золотоволосым юношей. Может быть, он заговорил со мной, может быть, нас познакомил кто-то из третьих. Мы были с разных факультетов, ровесники, один старше другого на десять дней. У него был спокойный, хотя и пристальный взгляд, высокий лоб, нежный румянец на мочках щек. И он, и я писали стихи, но для меня я был я, а он предстал поэтом, Лелем, Арионом. Мы вышли на Загородный и несколько часов ходили по городу: разговаривали и читали стихи. У него был баритональный тенор — если такой голос существует.

Кроме собственных, мы читали стихи Пастернака, Багрицкого и Блока. Потом он прочел из "Орды" и "Браги" Тихонова — тогда мы еще не соединяли их с Гумилевым, да и сейчас я ощущаю в них достаточно самостоятельного сырого дыхания. Где-то за Литейным мостом я слушал: "Мне якут за охотничий нож рассказал, как ты пьешь с медногубым и какие подарки берешь", — слушал и смотрел на шевелящиеся крупные губы, и необъяснимым образом знал, что вот это поэзия: что поэзия такова и что поэт — таков. И когда он читал свое недавнее: "Каждый камень на этой улочке, затвердившей его ненастье", — то же самое. Я и сейчас так думаю. Он был первым поэтом, которого я встретил в жизни, и на всю жизнь остался для меня образом поэта. Не только потому, что первый, а потому еще, что не "бледный со взором горящим", как я, что — юный, что день был майский, а он — чистый, вдохновенный, красивый. Как поэзия. Его звали Дмитрий Бобышев.

Прошли годы, прошла более или менее жизнь, у него вышли в свет четыре книги стихов, вышла в конце 1997-го (какие вавилонские накапали числа!) в Нью-Йорке, в издательстве "Слово-Word", пятая — "Ангелы и силы". О ней, по ее поводу и потянуло заветы о нем разговор, но нельзя же с орды-и-браги перепрыгнуть к ангелам-и-силам. Наведем шаткий мост.

Он учился в одной студенческой группе с Евгением Рейном: по полдня терлись бок-о-бок, в обиходе понимали один другого с полуслова, полувзгляда, один другого любили. На стихи друг друга поразительным образом не влияли. Начертательная геометрия, механика, теория машин и механизмов были необсуждаемыми условиями существования, насильным богами роком, силками, но не оковами. В наделавшей много шума в городском — и замеченной даже во всеобщем — масштабе институтской стенгазете "Культура" Бобышев напечатал статью "Хороший Уфланд" о нашем общем приятеле-поэте, тогда служившем на севере солдатыком. Не столько статья, сколько название вызвало особую ярость парткомовцев, и их можно понять. На летней студенческой практике где-то в Череповце или под Тулой Бобышева пырнули местные ножом, ему сделали операцию, и это отменило, отменило его судьбу — невнятным еще знаком, но отменило.

Бродский полюбил его преданно и нежно, звал отдельно ото всех "Митяй", и если Митяй неопределенно замечал, что неплюбо бы пива выпить, мог в один миг слетать на велосипеде до ближайшего ларька. Он виделся с Ахматовой, дорожил знакомством с ней, написал ей стихотворение; там

было: "Еще подыщем трех, и всемером, диспетчера выцеливая в прорезь, уроним в вашу честь электропоезд, нагруженный печатным серебром", — это отголоски фильма "Великолепная семерка", шедшего тогда по всем кинотеатрам. Ахматова посвятила ему "Пятую розу", вызванную к жизни

Помню воздух, полный птах,
помню мой случайный взмах
и — как горсть запретной доли —
ласточку в моей ладони.

Уже его переезд внутри города, на Петроградскую, выглядел событием вроде путешествия Лариных в столицу

санная, в том смысле, как мы говорим о поэтических сборниках вроде "Снежной маски" Блока или "Триятий" Мандельштама, то есть возникающих в границах определенного творческого периода, — а составленная. В ней стихи 60-х и 70-х годов соседствуют

Паладин поэзии

ни одной из пяти подаренных им роз, никак не желавшей вянуть. На смерть Ахматовой он написал "Траурные октавы", в которых впервые обозначил нас четверых — "Осю, Толю, Женю, Диму" — "ахматовскими сиротами", что до сих пор вызывает необъяснимое раздражение ряда людей.

В 1963 году его полюбила М.Б., невеста Бродского, он полюбил ее. На личную драму троих наложилась драма, поставленная ленинградскими властями: арест Бродского, суд, ссылка. За считанным исключением, общие друзья отвернулись от Бобышева — самый убедительный и самый необременительный способ демонстрации своей лояльности потерпевшему. Сколько боли принесла вся история каждому из участников треугольника, знают только они, но мы, несколько близко стоявших свидетелей, видели, что им очень больно, очень. Дело тянулось и после освобождения Бродского, они с Бобышевым стали врагами. Ты — жертва давняя моей тщеты, / как я — твоих амбиций и престижа. На сороковую ночь после смерти Бродский приснился ему:

Словно бы узнал он только-только
и еще додумал между строк
важное о нас двоих, но толком
высказать не мог.

Бобышев женился на американке и переехал в ту же страну, куда Бродский. Не высылка, не бегство — переезд. Похоже, что он продолжал за границей линию поведения, выработанную в Ленинграде: независимую, не разделяющую общих интересов пишущее-читающей публики, зато исключительно дорожащую ценностями, высмотренными собственным глазом, приобретенными собственным усилием. Еще до отъезда он получил из Америки участливое письмо от Юрия Иваска, поэта второй волны эмиграции, одного из младших собеседников Цветаевой. В Штатах их душевное сродство проявилось явственнее, дружеское расположение набрало силу. Он пожил в Нью-Йорке, потом на Среднем Западе, поработал инженером (пригодился в конце концов Технологический институт имени Ленсовета) и наконец осел в университете Иллинойса, в маленьком городке с громким названием Шампейн. Преполагает русскую литературу, язык, основы творчества.

В какие бы условия и обстоятельства он ни попадал, какие бы ни приходилось обязанности исполнять и неожиданности встречать, он, насколько я могу судить по десятилетиям нашей переписки и по следующему десятилетию встреч и телефонных бесед, являет собой все тот же тип поэта. Переменились черты лица, что-то, естественно, ушло, время оставило свои печати, но и незакомый, и далекий от литературы человек после пяти минут общения с ним не подыщет, чтобы определить его, иного слова. Сорок, тридцать и двадцать лет назад он был русский поэт, петербургский поэт, певец Ленинграда, но еще точнее — певец, дух и язык того конкретно куска Земли, которая лежит в границах Таврического сада, Рождественских улиц, Смольного собора и реки между Охтенским и Литейным мостами. Это была его Званка, его Михайловское и Слепнево — а именно, Таврига, место, привязанное к той самой Таврической "уличке", каждый камень которой был заучен его ненастьем.

А судьба, являя ритм,
в повтореньях нас творит:
оторвавшийся от книги,
помню, я гулял в Тавриге.



Фото Д. Митюрова.

Дмитрий Бобышев.

— отрыв от родины, от дома. В моих глазах он был самым непредставимым в качестве уезжающего за границу. Оказалось, что он уехал вместе с Тавригой. И тем самым — вместе с Ленинградом, доленинградским Петербургом, петербургской Россией, которыми через Тавригу он владел — так же, как они владели им, — по неписаному, но неоспоримому договору между исключительно им и исключительно его поэзией. Не памятью, а поэзией.

Архитектура — вмешательство в отмеренное и возведенное Богом пространство, и всякий город несет в себе следы и конфликта, и согласия между духом человеческим и Духом Божиим. Бобышев предпочитает видеть прежде всего согласие. Конфликт для него заключается главным образом в позднейшем нарушении той гармонии, которая запечатлела себя в облике Санкт-Петербурга на момент перед революцией — или точнее, как этот момент представлялся ему и его поколению через сорок лет после революции, когда поколению было двадцать.

Жизнь в этом городе каждый миг осуществляет себя как минимум в двух планах, и оба реальных, ибо приписанность к жилконторе, отделу кадров и бакалейной лавке ничуть не более актуальна, чем к Медному всаднику и Крюкову каналу. Независимо от твоего настроения это — место прошлого в той же, если не большей степени, что и настоящего. Прошлым распоряжается память, но все права на реальность прошлого — у поэзии. Потому из родившихся в этом городе редко кто хоть один день не бывает поэтом. Подлинно же редкостью — как Бобышев — ни на один день не могут перестать поэтом быть. Главное качество поэта — самовластность, и если он называет херувимом одного из небесных духов и одновременно альковную лепнину, подчеркнуто не делая между ними различия, то не наше дело приставать к нему с благонамеренно-возмущенными поправками. (Тем более, что и сам апостол Павел говорит о "херувимах славы, осеняющих очищение", в таких словах, что и мы не возьмемся утверждать определенно, о скульптурах идет речь или о шестикрылых существах).

И ангел, возглавлявший небосклон,
был тоже снят — в ремонт,
а не на слом:
паять, лудить (пожухла позолота)...
Тогда — я взялся за его пята,
ту золотую запяную,
что небо отделяла от болота, —
рассказывает Бобышев о позолоченном чуждом ангеле, три года назад на время спущенном для реставрации на землю со шпиль Петропавловского собора.

Книга "Ангелы и силы" — не напи-

с самыми последними — ориентированные относительно единой, не зависящей от конкретного времени вертикальной оси.

Это ли не побратим
твой, что над Невой навис,
мысля головою вниз,
горный Иерусалим?

Это ось петербургского шпилья, из болота поднимающегося в небеса.

Бобышев говорит не про то, о чем догадывается, а что знает. Его "души" — это вечная лебединая пара в пруду Летнего сада: лебеди потому души, что они одновременно еще и собственные отражения в воде, настолько не отличимые от себя реальных, что сама реальность двоится на плотскую и бестелесную:

Эти выгнутые выи
(шея — к шее двойника)
пишут буквы беловые
в черной глади, меловые —
мирового языка.

Другое дело, когда поэт хочет, чтобы было по его, когда подверстывает под догму, принятую им из вероучения, некий умозрительный, пусть и остроумный проект, который может из нее проистекать или ее доказывать, но может и нет, который, словом, ее иллюстрирует. Это касается главным образом цикла стихов "Стигматы", принадлежащих жанру "стихир", специальных "духовных стихов", интерпретирующих заведомо известные религиозные положения. Его "духовные переживания" действительно заслуживают высокого признания, но не выбором тем. Трагические стихи про Ксению Петербургскую (горяще-тающую истово и яро... Я помолился лишь "о нелишней дара") не более духовны, чем мелодия Эроса во "Владиславе и Нине":

И разом для нег и на пытку
готовилось — эдак и так —
и тукало, тычась к напитку
любовному, сердце-кулак.

Эрос — постоянный и сильный магнит поэзии Бобышева, не только в этой книге. Поэзия не "занимается" эросом, она — метод его постижения. Ее вещество столь легкотекуче, что проникает и в область, закрытую для других возможностей — философии, этики, психологии, — и в щели, недоступные логическому инструменту. Легкотекучесть поэзии сродни легкотекучести света, пронизывающего пространство, чтобы обнаружить его как предмет:

Но солнечная призма,
тряся букетом семицветных роз,
даст урок несложного кубизма,
и если кто понять его не смог,
то зеркала прозвонитый намок
сверкающей на плоскости дырой
тогда не говорит ли: дверь открой!

И когда возлюбленная спрашивает: а ты ответь мне: зеркало — предмет? — следует блестящее доказательство гео- и стереометрической теоремы:

Нет, не предмет, но правда
о предмете.
Поверхности дает оно объем.
Объему с отражением вдвоем
оно предоставляет заглянуть
до самого конца другому внутрь
и распознать себя.

Стихи Бобышева барочны. Барокко Петербурга, усвоенное как язык младенцем, обнаружило перед ним свою модель и структуру в Пространстве вообще.

Но, провзжая Массачусетс,
остановил кабриолет



на миг. И, взглядываясь в чужесты,
установил, что в мире нет
того, что не случилось прежде.
Все — было. И — холмы,
и та же в них надежда брезжит,
и брызжет свет из тьмы.

Случилось не с временем, а с пространством, случились — холмы: холмы земли и холмы света.

Четверть века назад в восхищенном созерцании великого дантевского кристалла Бобышев писал "Вещественную комедию":

вещество, являя ритм,
нас самих само творит.

Ибо единство сущего все равно не полно, если не явит себя в замысле, едином для звезд и атомов, для атомов и звуков, для звуков и звезд.

Так порой летучий прах,
позолоченный впотьмах,
каждою своей пылинкой
пляшет в радости великой.

То отечество, то облако, которое поэт привозит как собственный горб, туда, куда его заносит судьба, заключено не в воспоминании, а в выговаривании.

Там дома, собор собой закрывши,
и кресты, сияющие выше,
образуют кладбище на крыше,
золотое кладбище в душе.

Так это видно из трамвая, с виолончельным стоном поворачивающегося вдоль ограды Никольского собора в Петербурге-Ленинграде. Как всякую церковь, его облегает погост, остатки погоста, но в щель поверху замерзшего трамвайного окна видны лишь кресты над куполами.

Эта живопись, эта музыка, архитектура и кино разворачиваются на глазах и в ушах читателя единственно словом поэта. На пути к нему множество препятствий, соблазнов, волчьих ям:

То ли вишеные, то ли буру
подмешали в чернила:
что ни выплещется перу —
все — кроваво, червиво.

Но когда ты его достиг, оно достигло тебя и пока вы неразлучны, то:

...пока, светлячок слаботочный,
в мировой накрепленной ночи
незаметно пульсируешь строчкой,
значит — жив. А живешь, и молчи.

И тогда — "прощай, печаль", "прощайте, все века", "прощайте, жены", "и музыка, и музы", "прощайте, Женя, Толя, даже ты — да, ты, Иосиф, наконец прости же?", "родители, чита (те ли, которых нет?)... И только жизни — до свиданья!

Потому что не корить же, не карать, — спасти Отец Небесный

сораспинаемого смог
за миг перед кончиной!
А жизнь... Что наша жизнь? —
предлог?
— Для песни лебединой!..

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

Москва

Печатается в сокращении.
Полностью будет опубликовано
в журнале "Октябрь".

Дмитрий Бобышев

«АНГЕЛЫ И СИЛЫ»

Нью-Йорк, "Слово-Word", 1997.

Новая книга

стихотворений и поэм

Чтобы заказать книгу по почте,

вы можете выслать чек

или почтовой перевод на сумму,

равную 8 ам. долл., по адресу:

Ms. Galina Roubinchtein

612 W. Church St. Apt. 44

Champaign, Ill. 61820 USA

06.05.98

Бобышев Дмитрий